

**ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА
„КАТОРГА и ССЫЛКА“**

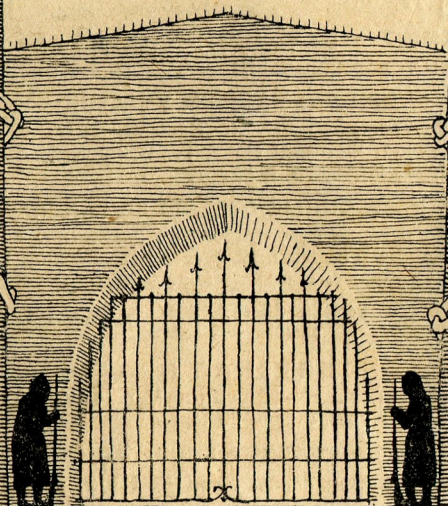
№

АНДРЕЙ СОВОЛЬ

9—10

„КОЛЕСУХА“

(Амурская колесная дорога)



МОСКВА

1925

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ.

Адрес конторы издательства: Москва, Лубянский пасс., п. 55.
Адрес склада изданий: книжный склад „Маяк“—Москва, Петровка, 7, тел. 1-48-92.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1925 ГОД

_____ на журнал _____
посвященный истории революционного движения в России до падения царизма



(Историко - революционный вестник)

Под общей редакцией В. Д. Виленского-Сибирякова.

ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ:

Н. А. Головиной, И. И. Ионова, Е. Н. Ковальской,
В. П. Козьмина, Феликса Кона, Г. Крамарова, А. В. Прибылева, М. Ф. Фроленко и др.

ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА:

1. Из истории революционного движения. 2. Каторга, тюрьма, ссылка и эмиграция. 3. Люди отошедших. 4. Библиография. 5. Хроника. Иллюстрации.

Размер каждого номера 16—19 листов, что составит в год свыше 150 листов.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

На 1 год (8 книг)—22 руб.; на 1/2 г. (4 кн.)—6 руб. 50 к ;
на 3 мес. (2 книги)—3 руб. 50 коп

Цена отдельного номера 2 рубля.

Вышли и разосланы подписчикам № 1 и 2, в конце апреля выйдет № 3.

Полных комплектов за предыдущие годы не имеется. Имеющиеся в ограниченном количестве неполные комплекты отпускаются по цене 20 рублей без пересылки.

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА „КАТОРГА и ССЫЛКА“.
Ж У Р Н А Л А

№

9—10

АНДРЕЙ СОБОЛЬ

„КОЛЕСУХА“

Амурская колесная дорога.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИКТОРЖАН и СС.-ПОСЕЛЕНЦЕВ
Москва—1925 г.

Москва. Главлит № 37.493.

50.000 экз.

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

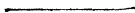
Приступая к изданию настоящей серии, посвященной ужасам царских тюремных застенков, мы ставим своей задачей показать русским рабочим и крестьянам, какой ценой куплена победа русского революционного движения, которое на протяжении ряда десятилетий шло через тюрьмы, каторгу и ссылку по пути к Великой Октябрьской революции, передавшей власть в руки рабочих и крестьян.

Широким кругам русской общественности известны мученики Шлиссельбурга, Петропавловской крепости, известно кое-что о политической ссылке; но как мало у нас знают об ужасах царских застенков—вроде Орловского, Тобольского, Псковского и др. каторжных централов, где гибли сотни и тысячи русских революционеров, эпохи массового рабочего движения, особенно после поражения первой русской революции 1905 года. У нас имеют крайне смутное представление о знаменитой «Колесухе»—Амурской колесной дороге, которая строилась буквально на костях русской политической каторги.

Кто об этом знает? Очень немногие. А должны знать все. Должны знать рабочие и крестьяне; должны знать комсомольцы—наша смена.

Обо всем этом мы хотим рассказать устами непосредственных участников революционной борьбы—устами тех политических каторжан и ссыльных, которые, пройдя тернистый путь революционной борьбы с самодержавием, все же уцелели и могут сейчас поведать правду об ужасах царских застенков.

Редакция журнала «Каторга и Ссылка».



„Колесуха“.

I.

... — Становись на поверку!

Звон — мимо гор, лесов, полей, вдоль Волги, Камы, Байкала, Амура, через сопки и туннели, зимой, летом, в вьюгу, в жару, в стужь — извечный русский кандалный звон.

Заковывали нашу партию в длинном, узком и темном коридоре.

Стояли в затылок и один за другим подходили, клали ногу на маленькую наковальню, и кузнец быстрым взмахом молотка расплющивал заклепки. Глядя, казалось: вот-вот сорвется молоток и ударит по ноге. Кладешь ногу на наковальню и чудится: железо обжигает. Нет, что-то другое обожгло.

И понятно, почему тихо в коридоре, почему не слышно человеческого голоса, почему сосед от соседа отворачивается.

А молоток стучит, стучит, не переставая.

Вечером товарищи - поляки затащили старую польскую кандалную песню — пели, аккомпанируя кандалами, танцуя, кружась.

Как отплясывал «пан» N, лихой танцор и лихая бедовая головушка — напорная, смелая. Года два спустя пытался бежать от конвоя — был пойман и бит зверски.

Ругались надзиратели, спешило начальство, угрожало карцерами, но кандалная песнь росла и ширилась — старая песня о вечно-юном человеческом духе.

Звоном началась каторга.

Но, как всегда, на-ряду с жутким было и смешное.

Помню: встанешь утром, надо одеваться — и вот перед тобой непосильная задача. как надеть штаны. Вознишься: сперва в одно кольцо продеешь, потом в другое — запутался; снова начинаешь — и опять паразбериха.

Злишься и хохочешь; горько и смешно. Но научился, как, потом, попозже, сам учил других.

Меня учил старик: уголовный, женоубийца; по-хорошему учит. даже любовно и если отметок не ставил, то все-таки ту или иную оценку давал.

Учил также, как подкандалники полочнее уместить, как цепь к поясу привязать.

Когда в первый раз я, сам, без чужой помощи, быстро оделся—я понял, что один экзамен уже выдержан.

Я научился расставлять ноги, не путаясь в кандалах. Я научился даже бегать, я научился спать не отбивая правую ногу левым кольцом.

Я был готов к пути, а он лежал передо мной — неведомый, таинственный, жуткий. И знал я: долгий. долгий...

II.

... В смоленской пересыльной тюрьме я переходил от одной стены к другой и читал—надпись за надписью, каракули за каракулями.

«22 февраля в тобольскую каторжную прошли... (такие и такие-то). У Миши... туберкулез, дайте знать матери... Фундуклеевская, дом номер.. Клев».

Тут же, рядом:

«Вся наша надежда на рабочих... Мы еще вернемся».

И поодаль:

«Колька... провокатор. Где ни увидите его — бейте беспощадно, я отвечаю. Алексей...»

Надпись за надписью:

«Группа бундовцев... в Александровский Централ. Товарищи, держитесь стойко, смерть самодержавию».

«Иду за экспроприацию, но это неправда, это провокация. Я иду за народ, за анархию. Долой мелких буржуев-социализма. Мишка...»

«Жоржу... Хлопчи о переводе в Нерчинскую. Я здоров, Григорий тоже. Обнимаю. Смотри весело».

А за печкой я нашел весточку и для себя: старый друг сообщал, что он в Бутырках.

А в погожий апрельский день нас повели к Бутыркам, вели долго, через всю Москву, вели медленно.

Вот приводит память одно: оглянулся я как-то — ведут триста человек, и все они серые, все одинаковые, все с мешками на плечах, все молча идут — и поди разберись, кто вор, кто за новую Россию пошел.

Да, пахло весной и улыбались девушки, а часа через два в Бутырках при приемке партии, когда я подошел к столу, где лежали наши статейные списки, не сняв шапки, надзиратель ударом по голове сбил с меня шапку, а к помощнику начальника обратился с усмешечкой:

— Форсит ведь!

Сворой налетают надзиратели.

— Раскрой хайло! Шире!

— Присядь!

— Подними ногу!

— Высунь язык!

Пальцы шарят во рту, под языком — не спрятана ли монета, пальцы скользят по всему твоему телу.

Вся партия раздета. Очередь еще не дошла до тебя, а уже нет сил стоять — присесть некуда, стыдно за себя, за других, за человека, а за окном солнце и бегают по асфальтовому полу зайчики.

— Раскрой хайло!

— Уши покажи!

— Присядь!

Друг от друга отворачиваясь, люди одеваются, торопливо путаясь в рукавах; кто бледен, кто багровеет — и вижу: никому не хочется встретиться с глазами другого, а кандалы звенят, не переставая.

Потом элон идет по лестнице: нас ведут стричься.

Не стригли, а рвали волосы тупыми ножницами, то кулаком пригибая голову, то ударом снизу, в подбородок, запорокидывая ее.

Двое из нас заартачились: отказались стричься.

Сейчас я бы мог ответить, почему мы отказались, что тогда—о, как определенно и твердо мы знали тогда, почему мы встали на дыбы, почему махнули рукой на все последствия и вспыхнули: это проглянула, наконец, живая душа. Ведь суть-то таилась не в стрижке самой—обыск был тоже хорош!—вот что-то хрустнуло внутри и ясно стало:

— Не пойдём!

И не пошли.

А вскоре мы уже лежали на полу.

Летят клоки волос, надзирательские колена упираются в грудь, крепкие, жилистые пальцы пригибают к полу — не дают пошевелиться, подняться; только хрипишь и задыхаешься.

Еще минут пятнадцать — и мы, полуголые, в одном только нижнем белье и халатах, уже в бутырском карцере.

Погреб. Одна половина разбита на клетушки, другая еле-еле освещена грошевой лампочкой, окна не только не видать, но чувствуешь, что его вообще нет.

Ввергают меня в одну клетушку, товарища в другую, запирают за нами двери — и мы в неопостижимой темноте.

Бреду наугад, руки протянув вперед — и сразу нащупываю стенку, догадываюсь, что клетушка коротка и узка. Хочу сесть, а на полу воды с вершок, стены мокрые. Опять стучат затвором: надзиратель сует мне кусок хлеба и какую-то посудину с водой. Ставлю ее на пол. Вскоре пить хочется — ищу посудину, нахожу, подношу ее к лицу — и отшатываюсь: вонь нестерпимая. Понимаю в чем дело и ищу другую, нахожу — и снова отбрасываю. Так на все время остаюсь без воды.

Да и без хлеба тоже: держать его негде, в арестантском халате кармана нет — положил в уголок, а когда немного погодя потянулся за ним — попал в живой клубок крысиных тел.

Они окружали меня со всех сторон, пищали под самым ухом.

Лег — одна по ногам скользнула, другая голову задела, вот третья руку тронула. Вскочил я, ошалев.

Пока бодрствуешь — еще не страшно: то вспугнешь их окриком, то ногой качнешь и звоном прогонишь.

Тьма, крысы, мокрые стены, мокрый пол, но ко сну все же клонит. Но приучился: будто спишь. Не то сон, не то полудремота, а помнишь, что надо от поры до времени ногой встряхивать и звоном ошугивать.

Идет день, другой, третий и не знаешь, что на дворе: ночь или день.

Смену дней узнаешь только по приходу надзирателя: принесли хлеб — значит, сутки прошли; другой раз принесли — другие сутки прочь.

На четвертый день в третьем карцере от меня избивали вновь приведенного арестанта.

Кого, как его звали—до сих пор не знаю. Я услышал только, как загремела входная дверь, как затопали надзиратели, как зазвенели кандалы нового узника.

Политический? Уголовный? — я кулаками забарабанил в дверь, крикнул:

— Кого привели?

И в ответ раздался вой.

Темень, каменный гроб, сознание, что ты бессилен, как кролик и этот вой — нечеловеческий, иступленный.

Разве выдержишь, разве мыслимо в такую минуту твердить себе:

— Будь благоразумным.

Проклятая тьма, грохот отворяемой бешеными руками двери, но—мимо, мимо!

Когда кончился срок карцерного сидения и нас вывели—я был глух, слеп и нем ко всему: к небу голубому, к голосам людским, а ведь, сидя в карцере, я говорил себе:

— Держись... небо... люди... живые люди... свет.

Шел двором, и было одно только желание: лечь, но по настоящему, не скрючившись, но так, чтоб не надо было помнить: шевели ногой, шевели!—и заснуть, заснуть надолго, навсегда.

III.

...Мелькают тюрьмы — разворачивается каторжный путь от Москвы до Иркутской тюрьмы, от

Иркутской до Александровского Централа, от Централа до Амурской колесной дороги.

До Сибири уголовный мир был все же вдали от меня, подойти к нему вплотную не удавалось: не успеешь приглядеться, а уж тебя включити в партию.

В Сибири крепче сидишь на одном месте, состав более или менее оседлый, день долог, лиц много: гляди да приглядывайся.

И я приглядывался.

Подружился я с одним из крупных воров. В чинской тюрьме, при строжайшем режиме умудрился он фабриковать фальшивые рубли и не малое количество их он сбыл. В 1905 году он столкнулся с первыми политическими каторжанами. Когда я его увидел — это уже был убежденный анархист, читавший Кропоткина, Эльцбахера. Не заискивал перед политическими и не гнушаясь своих (что почти обязательно в таких случаях), он держался превосходно, в библиотеке нашей был одним из усерднейших читателей и, что было удивительнее всего, стихов не писал.

Я перевидал не мало уголовных, к «политикам» потянувшихся, и все они, словно по уговору, писали стихи: весьма революционные и очень сентиментальные. Когда мы подружился, он мне сказал, что убежит во что бы то ни стало, а срок за ним числился не малый — пятнадцатилетний — и первым делом в Лондон, к Петру Алексеевичу.

Так и говорил: не к Кропоткину, а к Петру Алексеевичу.

Года полтора спустя, в этапке гантимурской, по дороге в Зерентуй, я узнал от старых александровцев, что он бежал безрассудно-смело и удачно.

Издали я одно время долго следил за одним белоруссом — Макаричком.

Вертялый, крохотного роста, этот человек буквально исходил жизнерадостностью: стрекотал без умолку, заливаясь смешком, всем лез под ноги и всем улыбался — суций воробей среди воронья серого.

Однажды ни с того, ни с сего попросился к тюремному попу; вернулся о Евангелием, перестал хохотать, глаза сузил и замолчал. Читал Евангелие днем, читал ночью.

Как-то поутру вышел на прогулку и перед первым попавшимся встал на колени:

— Братец, спаси меня. Гляжу и кровь вижу. Спаси меня, вырви глаза мои.

А вечером при проверке встал позади надзирателя, ухватился за рукоять пашки и выдернул ее из ножен:

— Выколи, выколи глаза.

Его потащили в контору. В конторе Макарчик полез под стол, плакался о могилках; обступили его писаря, зашущукались, позвали начальника. Макарчик попросил лист бумаги, чернил, а начальнику сказал:

— Я говорить буду, а ты пиши.

Рассказал, что в Минске убил купца, в Борисове трех евреев зарезал, девочку изнасиловал и придушил.

Поглядел на него начальник и доктора кликнул. Неизменно-пьяный доктор сунул Макарчику в рот чайную ложку и безнадежно махнул рукой.

Макарчика отослали в Иркутск на испытание; по дороге он цеплялся за штывки конвойных и молил:

— В глаза мне всади, брат ангельский.

А ночью в деревянной эталке распатал сгнившее бревно и тенью прополз между часовыми. Только кандалы и нашли.

Из бывших «Иванов» запомнился один старичок—с бородкой клинушкой, очень чистенький и аккуратный, с носовым платочком в руке, а про него-то мне и рассказывали, что даже среди «Иванов» он отличался жестокостью и силой. Любил я следить за ним, когда уголовные в лото играли, особенно в те минуты, когда на его долю выпадало цифры объявлять.

Тогда он садился по-турецки, ножки поджав под себя, потряхивал ситцевым мешочком, похожим на кисет, и каждый раз объявлял:

— Братцы, я честный, без жульничества.

И бойко скороговоркой выкликивал:

— 22... ангарские уточки. 16... лет молодой, грудастой. 11... барабанных палочек. 88... кренделей мои сдобные. Эй, эй, Женька, жульничать? Я, братец, все вижу. Ну-ну, поговори со мной. Что? Нечего чваниться, живо вадуем. Это тебе, братец, не прежние времена. Туды-суды... 69. 90... лет старику, глядит на девицу и заливается. 77... жиды шабаш справляют. 33... забрасывают крючки. 8... девек, один я, куда девки, туды я.

IV.

В старой тетрадке надолго отпечатались «каторжные дни», старая тетрадка зафиксировала и Лукишки, и стрельбу в Самарской тюрьме, и стрижку—издевательство в Бутырказах, и переправу через Селенгу, и военный карцер в Сувалках, и на всю жизнь, до порога оштрафательного, до последнего предела не сотрутся со страниц ее жуткие заметы о «Колесухе» — воспоминания об Амурской колесной дороге. Про Амурскую колесную дорогу («Колесуху») воистину можно сказать, что от края до края полита она человеческой кровью. До 1905 года на «Колесуху» посылали только уголовных, с 1905 г.

стали направлять туда и политических и, повидимому, где-то в верхах сочли это разумным и целесообразным: от одиночек перешли к десяткам, от десятков—к сотням,—и пошлелись на «Колесуху» студенты, учителя, статистики, рабочие; живо и быстро политические переполнили «Колесуху»,— русская интеллигенция еще раз сподобилась, а в длинной цепи непрерывных страданий прибавилось еще одно новое звено.

Далека «Колесуха»—на Амуре, рукой подать до Китая: только перевалить Малый Хинган—и ты у желтых; и неделями продолжается этап, по суше да по воде, в вагоне и в барже, через горы и реки.

Разворачивается пеший тракт, верста в версту упирается, все труднее и труднее взбираться на гору, а дорога, как на зло, все время подъемом, и порой кажется что до Иркутска уж никогда не дойти. Вот порвались подкандалники, кольцо сползло с петли, давит ногу все сильнее и сильнее, а до привала далеко, не дают остановиться, переобуться, поправить подкандалники — солдатский приклад настороже: прикусив губу, с усилием во лочишь ногу, глотаешь пыль, задыхаешься от жары, а воды и в помине нет, как нет конца тракту. На перевале долго держишь ногу в ручье и по-детски благодарно думаешь о том, какая чудесная штука вода, а отошел от ручья—нога, как мертвая: ни двинуть, ни шевельнуть, но конвойные кричат: «Становись!».

А на следующий день, после ночевки в этапке, вдруг густо идет дождь—конвойные торопятся, гонят, и, помнится, когда, наконец, показались стены Иркутской тюрьмы—вся партия, как один человек, легла наземь, тут же прямо в грязь, в лужи.

Краток отдых в Иркутской тюрьме. Да какой это отдых, когда 60 человек в одной камере, когда

тут же над головами сушатся рубахи, а с мокрых портянок, развешанных над тобой, вода струится, точно из желоба? Не мудрено, что с радостью взираешь на вагоны, когда с вокзала держишь новый путь—на Сретенск—далекий и неизвестный. Эх, все равно, пусть будет, что будет, но пока—сухой вагон, светлый, просторный, воздуху бездна, а за окном, правда, с решеткой, вольные поля, ширь и простор... Если бы туда... А ухо, цепкое ухо каторжанина, все прислушивается к разговорам; беседуют бывалые люди, обратники, рассказывают о Лебедеве—начальнике сретенского конвоя—и кто знает: правду говорят или по старой привычке сочиняют, но рассказы жуткие, дикие. Не хочется верить,—если поверить, то как же быть с полями, вон с тем леском, что пронесся сбоку?

И приходится верить: своими глазами убеждаешься, сам становишься объектом лебедевского обращения, а какая колоритная фигура для писателя-бытовика, какой благодарный материал для лепки человека-зверя; одна улыбочка чего стоит, одни брови как многоречивы! Всю партию обжигает хлесткий, звонкий окрик:

— Шапки долой! Смирно!

Шелест, сотни рук одним взмахом поднимаются, сотни шапок снимаются одним мигом, и горе тому, кто зазеваается, кто не успел: лебедевский кулак сметает несчастную шапку, как пушинку, а неповоротливый хозяин валится наземь. Мертвая тишина, ни одного шороха, ни вздоха, ни движения—вся партия, как один человек, замирает на месте. И, замерев, должна, обязана выслушать речь начальника: он любит поговорить и говорит красно о внутренних врагах, о жидках, о благости самодержавия и прелести дисциплины, а за речью—обход по рядам и добрый совет сознаться откровенно, у

кого распилены кандалы, но охотников на откровенность мало, и, багровея, Лебедев выкрикивает:

— Конвоиру, нашедшему распиленные кандалы, 25 копеек, а у кого найдут—25 с того конца, где...

На пароме вторично осмотр и вторичное напутствие Лебедева; опять речь о мерзавцах, воостающих против бога и царя, и снова тщательный глаз шмыгает по лицам, по ногам; у одного халат небрежно застегнут—Лебедев пригибается, ударяет по зубам и идет дальше, идет враскоряку, плечистый, грузный и багровый—и тут та же прежняя мертвая тишина, только чуть-чуть плещется Шилка.

Паром шевельнулся—плывет, плывет с людьми, с телегами, до верху нагруженными арестантским добром,—и вот уже близко, рядом баржа, а впереди ее маленький буксирный пароходик, грязный, закопченный, мало доверия внушающий: когда гудит—сам весь трясется, и порой кажется, что вот сейчас он подпрыгнет разок и ко дну пойдет, а баржа громадная, неуклюжая, почему-то желтым выкрашена и наверху у нее, на палубе, железная клетка. Страшная клетка: и непонятная, и понятная; жуткая клетка: не то для людей, не то для зверя, а минут через двадцать мы уже в ней: поднимаемся по трапу, гуськом. В клетке обыск—классический, виртуозный, пылинки не оставляют, и только видишь, как летят за борт осьмушки махорки, папиросы, мундштуки, спички, письма, карандаши—все в воду, все—Шилке и ничего живым людям.

Посреди клетки люк, точно вход в пещеру; заглянешь туда—темень и только бьет в нос едкий запах кеты. Вчера баржа привезла кету, сегодня везет нас, послезавтра повезет деготь, потом снова других каторжан, затем опять кету—неуклонный круговорот, ничего не поделаешь.

А внизу наглухо завинчены иллюминаторы, на полу-вершка два грязи, по стенам течет охра, сверху давит низкий бурый потолок, полутемно, иллюминаторы скупно пропускают свет—и летят, летят сверху наши мешки: это конвойные, просмотрев, возвращают нам наше добро; обыск кончен, все уже внизу—все 300 человек; старший конвойный в последний раз показывается в светлом четырехугольнике люка, напоследок бросает:

— Эй там, потише!—и кто-то сразмаху опускает крышку люка.

Мы заперты, едва улавливаем слабый гудок пароходишка, баржа трещит—точно упирается и двинуться с места не хочет, один толчок—скрипят стены, другой толчок—накренились иллюминаторы—и мы плывем, плывем к «Колесухе». В деревянной клетке, где запах охры перебивает запах кеты, а человеческий пот—тот и другой, густо, как в муравейнике, но люди-муравьи злы, обидчивы, недовольны и голодны,—невесело, когда сразу галдят триста человек, когда всем хочется и удобно лечь и половчее примостить свой мешок,—и немудрено, что гуляют по твоим ногам чужие ноги, а чужие мешки валяются на тебя, но как бы там ни было, а мы плывем, плывем к «новой квартире», на новую жизнь,—жадно прильнув к иллюминатору, не отрываясь глядишь, как несется и уносится берег.

Плывешь пятый день, плывешь восьмой, и только украдкой видишь небо, только случайно глотнешь свежего воздуха, а, ведь, над нами светлое осеннее небо и вокруг нас необозримые свободные поля. Синел Амур, высились громады Малого Хингана, хорохорился пароходик, шумела вода, потревоженная покатою грудью баржи, а триста живых людей тяжело спали, тускло бодрствовали и слепо шли к конечной цели—к «Колесухе».

На десятый день пароходик подвез баржу к Пашковской станции.

Приехали поздно, уже темнело, и потому пришлось заночевать на берегу; до места работы было верст 30, и конвой ночью не решался вести нас, а пароходишко, сбросив нас, поплыл дальше; словно потерпевшие крушение, мы остались на берегу. Запылали костры, места свои заняли часовые, зашумели котелки, манерки, но не успели мы расположиться, как хлынул проливной, обычный для тех мест, дождь, и минут через 5 уже не было костров, и с ними улыгнулись нам и ужин, и чай, и отдых, и тепло. Мы лежали в воде, промокшие, иззябшие, ооченевшие, и часовые, обозленные, проклиная и дождь, и «Колесуху», и «политику», срывали гнев свой на нас.

Было темно, и часовые кричали:

— Не поднимайся! Смирно лежать!

Под голову мы подложили мешки, но они скоро промокли, как и халаты наши, бушлаты; дождь лил всю ночь, не переставая, забирался за воротник, тек по ногам, а близко Амур шумел угрюмо.

На рассвете нас погнали к лагерю; для вещей подвод не дали, а у каждого из нас мешок весил с пуд—и с такими мешками нас погнали, как гонят телят на базар. Не действовали окрики—пустили в ход приклады; люди спотыкались и падали, но теми же прикладами конвойные поднимали их; задние напирала на передних, слабые цеплялись за более сильных, один у другого висел на плечах, один другого перегонял. Приклады гуляли по плечам, свисали мокрые халаты, хлюпала грязь, каждая верста тянулась неимоверно, казалось, что версте отдельной конца не будет, а их было немало. Под вечер забелели палатки—мы очутились на месте, а встретили нас зуботычинами: таков был обы-

чай пересчитывать—кулаком в грудь или в лицо—и счет:

— Первый, второй, третий...

Мы пришли на «Колесуху».

Старый, многоопытный каторжанин рассказывает о былом и всегда неизменно добавляет:

— Э-эх, это что—ерунда! А вот «Колесуха»—там вот запоешь...

К какому-нибудь начальнику тюрьмы делегация обращается с теми или иными заявлениями и слышит в ответ:

— Так-с, вы с претензиями? А на «Колесухе» не были? Да-с, вот там вы поговорите!..

В воскресенье подают кусок мяса, и уголовный, смакуя, сияя, радуется.

— Благодать, это тебе не «Колесуха».

Бывший «Иван» ссорится с кем-нибудь из мелкоты и орет:

— Мразь! Да я тебя вдрызг, да я на тебя паровозом. Был ты на «Колесухе»? То-то. а еще лезешь. На меня-то.

И мы уже давно знаем: «Колесуха»—это Амурская колесная дорога, что прокладывается между Хабаровском и Благовещенском, слушаем о порядках на «Колесухе» и не верим, добрых три четверти приписывая арестантскому творчеству, но на наши скептические замечания слышим в ответ:

— Ладно, авось, поверите. Вот погодите...

Мы «погодили», и мы убеждаемся; мы «погодили», и, угодив на «Колесуху», уже знаем, что рассказы о ней, слышанные и в Бутырках, и в Тобольске, и в Алгачах, и в Александровской централке, и в Смоленском центре правдивы и точны, как протокол. К сожалению, «сочинительства» нет. На этот раз арестантское творчество питалось фактами—голая правда, как всякая голая правда,

ясна, как божий день, неприкрашена—и поэтому жутка и кошмарна.

Встреча первая, у палаток тогда же раз'ясняет все; дальнейшее—последующее—в полной согласованности с началом, а конец венчает это,—«Колесуха» не обманула, «Колесуха» не солгала устами тысяч каторжников, разбросанных по всей русской земле. Круг, взявший свое начало в маленьком польском городке, вбирает в себя новое звено—«Колесуху»—и, кто знает, быть может, это звено будет последним, окончательным и тем мертвым звеном, каким замыкается жизнь,—живая жизнь, ибо на «Колесухе» «живой» жизни нет, как нет живых людей, а есть ходячие трупы, как нет вообще «людей», а есть числа, номера, манекены с ярлыками: уголовный, политик, бывший студент, бывший агроном, бывший учитель. На «Колесухе» не говорят, а шепчутся; на «Колесухе» не спят, а тяжело дремлют с готовностью в любую минуту вскочить и вытянуться в струнку; на «Колесухе» не умываются, а чешутся; на «Колесухе» не едят, а торопливо, обжигаясь, глотают, на «Колесухе» нет ни норм, ни закона, ни правил, ни обычаев, а есть только разнузданное «хочу» любого солдата, любого надсмотрщика—американские плантации на берегу Амура, плантаторы с фамилиями: Карпов, Сидоров, Смирнов, белые рабы под серыми куртками, а вместо американских лесов—амурские сопки, болота. И молчара — мелкая, злощая, тучами облепляющая лицо, руки, ноги.

— Был ты на «Колесухе»? То-то!

«То-то» стало фактом: мы живем в палатках, дырявых и грязных, куда легко и беспрепятственно проникает и дождь и ветер; когда ветер злится—вся палатка ходуном идет, а мы под серым полотнищем беспомощны, как дети; спим на грубо сколо-

ченных козлах с соломенной подстилкой. Да мы не одни—у нас и гости водятся: уже приползают и греются. Сначала страшно, а потом привыкаешь: ничего, тварь безвредная, ведет себя пристойно, и ничего не требует.

В 4 часа утра нас выгоняют на работу; только-только светает, когда мы вылезаем из палаток и двумя длинными шеренгами выстраиваемся вдоль палаток, а перед нами темный лес; за нами—сопки, сбоку—топь и где-то недалеко Амур, а за Амуром—Китай—воля, свобода, но—близок локоть, а не укусишь.

Мы в рваных, грязных рубахах; многие из нас босиком, а утро холодное: осеннее солнце греет скупно, по сопкам ползет туман; от леса тянет сыростью—дрожим, ежимся и ждем команды. Из крайней палатки показывается начальство—шеренги замирают...

— Первый, второй, третий...

Солдаты вскидывают винтовки, мы—лопаты, и десятками выходим на дорогу, десяток за десятком шлепаем по грязи, десяток за десятком отбиваем версты, а их немало: 12 верст надо пройти, чтобы добраться до участка и те же 12 верст обратно, когда погонят домой.

Мы роем канавы, режем дерн, возим песок, дробим щебень, прорубаем тайгу, тянем бревна, отбрасываем камни,—словом, прокладываем дорогу, но не по сухим местам, а по болотам, вопреки здравому смыслу, но зато на благо того, кто руководит постройкой и кто на каждой лишней версте богатеет. И богатеет здорово: выписываются фантастические цифры расходов, не выдается наше грошевое жалование (что-то около 30 коп. в день на душу, а нас 300 душ,—вот в день и набегает 90 рублей), полагающаяся нам одежда, обувь тоже остается в кар-

мане, вместо фунта мяса получаем полфунта, вместо 3 фунтов хлеба—2, и не мудрено, что начальство не торопится и с особенным удовольствием путь направляет по болотам, делая 2—3-верстные крюки, а каждый такой крюк затягивает работу на пять-семь суток, а тут иногда сама природа приходит на помощь: то вода затопит участок, то насыпь от дождя сползет вниз, то мостик провалится—глядишь, заново надо работать, еще на добрую неделю поправки, да починки.

От ближайшего жилого места 100—120 верст, вокруг сопки непроходимые болота, молчаливая тайга—и что хотят, то и делают с нами, а конвой, как на подбор—звери. Сами они тоже пасынки в своем роде: штрафные из полков, и им не сладко, и им, как и нам, приходится месить грязь, дрожать под дождем и ежедневно отмеривать 24 версты, да и кормят их туго; на ком же сорвать свою злобу, как не на нас, беспомощных?

Работаем мы не все вместе; для предупреждения беспорядков нас разбивают по десяткам и разбивают умело: по одному политическому на девять уголовных, на случай побега обязав всех круговой порукой,—и уголовные следят за десятком политическим не хуже конвоира.

И куда и как убежишь? — по прямой дороге нельзя; кинуться в тайгу—пропадешь; по сопкам пробираться—обратно к старому месту вернешься,—и побеги редки, как редки у нас солнечные ясные дни. Девять уголовных на чеку, глаз не спускают с тебя, знают, что в случае побега им придется расплачиваться своей спиной; наизусть все помнят редкие побеги и с дрожью вспоминают, как пороли один десяток, когда смельчак нашелся и, все презрев, кинулся в тайгу.

В июне бежал матрос Масалков—политический; поймали его тут же, дали 25 розог и заковали, неделю пять работал в кандалах, стоя по колено в воде; весь он в кровоподтеках и ранах; а до него бежал один уголовный, десять дней кружился по сопкам, а на одиннадцатый день увидал, как что-то белеет вдали; обрадовался, решил, что на деревню набрел, побежал, радуясь, и—уперся в палатки.

Два смельчака—Парохин и Гришин—на глазах конвойных бросились в лес; загревели выстрелы; на помощь прибежали остальные конвойные. Минут через 20, Парохина и Гришина поймали и сквозь строй провели: конвойные зверски работали прикладами; Гришин тут же умер, а Парохина, полумертвого, отправили в больницу. В конце осени пытался бежать Федя Дрожжин (ныне покойный: где-то в Сибири убит в боях с семеновцами)—не удалось; поймали и били смертным боем. Счастливо бежал лишь покойный Алексей Бессель-Виноградов; дней 12 бродил по тайге, но в конце концов волю нашел ¹⁾. Из одного десятка бежал уголовный Грузинский; остальных 9 вышорали; два раза наказывали; каждый раз по 40 розог.

Урок давался большой; редкий мог кончить его: то велено десятку вырыть канаву в 120 аршин длины, в полтора аршина ширины, три четверти глубины и при этом всю землю свезти; то приказывают набить и свезти 18—20 вагонеток щебня, а везти надо версты 3—4, то вдруг велено на протяжении 120 аршин длины и 2 аршин ширины вырезать правильные четырехугольные куски дерна (каждый кусок глубиной в $\frac{2}{3}$ арш.) и обложить ими тщательно до-

¹⁾ Его перу принадлежит книжка: «Через „Колесуху“ на волю», вышедшая отдельным изданием в Париже в 1942 г. Статью о нем В. Бурцева смотри в журнале „Былое“ № 3 за 1917 год.

рогу. Был еще род работы: корчевка—работа тяжелая и почти невыполнимая—вырубить десятка полтора об'емистых деревьев, распилить, а землю совершенно очистить от корней. При этой работе самые сильные падали; сахалинец Рогачев, человек в два обхвата, два раза бежавший с Сахалина, смуглый красавец, широкоплечий и сильный, как сохатый, не раз ложился на землю в бессилии. Режешь дерн, поднимаешь мокрые четырехугольники, а снизу тучей поднимается мошкара, слепит глаза, впивается в щеки, в губы; канаву роешь—вода по колено; щебень дробишь, грузишь в тачки, а тачки сломанные. Говорили старшему надзирателю Гвоздеву, просили заменить новыми, а тот просто и коротко ответил:

— На то и каторга, чтобы тачки были сломанные; с целыми не мудрено.

Дождь ли, жара ли—все равно: работа продолжается.

Одно лето жара достигала 40°,—все-таки работали, хотя каждый день на тачках привозили по 2, по 3 человека, свалившихся от солнечного удара. Однажды фельдшер не поверил, решил, что арестант притворяется—исколочил его всего иголками; проверить хотел.

Доктора нет—два фельдшера; один из них порядочный человек, но вечно пьян; налившись, жалует нас, негодует, а помочь ничем не может. Другой трезв, как квакер, но подл до гадости; бывший казак, за дезертирство его присудили к 4-хгодичному заключению; подал прошение на высочайшее имя, и 4 года крепости отменили с обязательством прослужить фельдшером 5 лет на колесной дороге. В приемной у него всего одна бутылка иода, и одной и той же кисточкой он смазывает сифилитические язвы и простые нарывы; нередко рукоприклад-

ствуует, постоянно отказывает в лекарствах и неизменно сквернословит.

Конвойных человек сто; все штрафные и все потеряли облик человеческий: «Колесуха» все уравнивает, начиная от начальника Кнохта и кончая техником Янцем (бывший офицер, отбывший каторгу за какое-то убийство). Кнохт собственноручно не дерется, но Янец иногда не прочь; Кнохт любит «выражаться» и читать нравоучения. Однажды ему пожаловались, что жалования не выдают, что сахара нет; он изволил улыбнуться и ответить:

— К чему он вам? Я сам пью без сахара.

А конвойные—конвойные однажды для забавы поймали собаку, переломали ей лапы, а когда она завизжала, выкопали яму, зарыли ее живой, подплясывая и играя на гармонике.

А конвойные—конвойные бьют арестантов; бьют днем, утром, ночью. Бьют за то, что ты еврей; бьют, если носишь очки, длинные волосы: «а, забастовщик!»; бьют, когда надеваешь чистую рубаху; бьют, когда идешь на работу, с работы; бьют за недоконченный урок, за лопату, не во-время поднятую, за то, что поскользнулся в грязи, за то, что не так быстро побежал, не так скоро исполнил приказание; бьют ночью, когда громко заговоришь в палатке, когда просишь «до ветру».

Ночь, тишина; выходишь из палатки и кричишь:

— Господин часовой, позвольте «до ветру».

— Иди,—раздается из темноты.

Бредешь к «параше», а не успел подойти—летишь со всех ног: получил прикладом по затылку. Оказывается, что конвой забавляется: «иди»—кричит не передний конвойный, а боковой—и передний бьет.

Как-то, в октябре, старикашка один вышел из палатки, попросился, а конвойный не пускает.

— Попляши,—говорит,—а то не пущу.

Старикашка шмыгнул носом и стал плясать.

В том же октябре месяце некий Абдышев попросился у часового выйти; часовой пустил, а когда Абдышев, возвращаясь, мимоходом заглянул в чужую палатку,—часовой Кравченко налетел на него, прикладом повалил на землю и сломал ему два ребра. Начальник конвоя, когда ему донесли о случившемся, заметил:

— Плохо, что сломал ребра, но молодец, что верен присяге,—но при чем тут присяга—осталось тайной.

Политического Гуткина конвоир избил до полусмерти за отказ Гуткина продать свою подушку за 20 копеек; у другого в течение нескольких дней не сходили кровоподтеки; избив его, надзиратель крикнул конвойным:

— А, ну-ка, пощупайте его!

К счастью, никто из конвойных не подошел, один только отозвался:

— Не стоит: больно щупленький.

Больного Хихадзе, не вышедшего на раскомандировку, надзиратель, после проверки, вытащил за ноги из палатки, велел ему встать; когда Хихадзе встал, надзиратель ударом ноги в живот повалил его, избил, а потом позвал конвойного и велел погнать Хихадзе на работу: больного Хихадзе заставили пройти 12 верст под прикладом.

Тайга. болота, приклады и кулаки, сырость и голод, непомерная работа и сознание безнадежности, серое небо и безысходность, мошкара и вода по колено, рубахи с паразитами и голые нары—и понятно, что люди шли к избавлению окольными путями: рубили себе пальцы, нарочно заражали себя,

пили настойку из махорки, симулировали сумасшествие—все, лишь бы быть отправленными в тюрьму, лишь бы уйти с «Колесухи».

За свое пребывание на «Колесухе» я помню много таких случаев: один политический, на моих глазах, лопатой рубанул себя по ноге, отрезав полпятки; несли его окровавленного, а другие глядели с завистью:

— Вот... отправят.

Уголовный армянин, когда катилась вагонетка, подложил под колесо два пальца; даже не вскрикнул, только скривился и, молча, стал оседать. Год спустя мы встретились на этапе по дороге в Нерчинскую каторгу,—он шел на поселение; был он безруким и седым.

Мой сосед по нарам, ночью, под кожу ноги продевал красную, толстую шерстяную нитку, на ночь оставляя ее: нога пухла, гноилась, а он радовался и верил, что скоро отправят его.

Юноша, лет 20, порывистый и жизнеупорный в тюрьме, говорил мне на работе, когда мы резали дерн, вяло и медленно:

— Я не могу больше. Вчера я десять раз получил прикладом. Я с ума сойду или подложу пальцы под вагонетки.

Я следил за ним ежеминутно; когда подкатывалась вагонетка, я замирал в волнении.

Не пришлось ему воспользоваться вагонеткой: однажды надорвался, поднимая осину—и хлынула кровь горлом,—отправили его в тюрьму. А Малыгин—тот просто: взял топор и отрубил большой палец руки—тут же, у всех на глазах, руку положил на сруб, точно говядину, и ударил быстро.

А дни тянутся медленно, уныло и жутко, как жутко днем на работе, как жутко ночью в палатке, но зато каждый вечер, по возвращении с работы,

нас выстраивали перед деревянным крестом (стоял он перед палатками—большой, некрашенный) и заставляли петь «Спаси, господи».

Христианин ли ты, еврей, магометанин—все равно: стой и пой, в противном случае опять тот же приклад. Приклад на «Колесухе» никогда не отдыхает, он всегда наготове.

Вечер—зыбкий и бледный, десяток за десятком тянутся к кресту, выстраиваются, и под темным замолкнувшим небом, далеким и черным, несется хриплое, нестройное пение, а те, кто поют, дрожат от сырости и шатаются от усталости, а те, кто заставляют петь, покрикивают:

— Громче, сволочь!

Разносится окрест:

— «Опаси, господи, люди твоя»...

Звезда мелькнула, другая, дрожат дальние огни кухни, светится палатка техника Янца, шумит угрюмо тайга.

— «Бла-а-говерному импе-е-ра-тору»...

Кое-кто крестится, вон кто-то вздохнул тяжело, кто-то за моей спиной протянул тоскливо: «господи»—и какая жуть в этом протяжном тихом шопоте.

— «Благослови достояние твое»...

Нет благословения, ни милости, ни надежды, а в палатке толчея, злые окрики, шипящие голоса,— все люди и всем тяжко,—и говоришь себе, твердишь себе: «держись, держись, не поддавайся ни тайге, ни туману, ни осенним темным снам».

После молитвы скудный ужин второпях, наскоро, а будь он даже лукулловским—все равно не до него, лечь, скорее лечь, скорее натянуть халат на голову и уйти от всего: от палаток, от прелой соломы, от приклада, который каждую минуту занесен над твоей головой, от скрипа тачек, от лопат,

от мокрого дерна, от ржавых вагонеток, от груды щебня и от людей, да, от людей, похожих на все, что уютно, только не на человека, даже если эти люди любят Пушкина и знают, какое великое слово—слово «революция».

Нервы у всех точно обнажены; ссоры часты, как дождь, малейший пустяк является поводом к брани,—и мы ругаемся, как извозчики, а грязны мы, как трубочисты: месяцами не меняем белья, его нам не выдают—и три четверти ночи воюем с насекомыми, а избавиться от них не можем.

Ночью палатки, словно барак тифозный: кто бредит во сне, кто вскрикивает, никто не спит спокойно; мечутся, точно грешники, разбрасывают руки и ноги, ворочаются, тяжело дышат, тяжело спят, а вставая на работу, кашляют хрипло, надрывно и гнутя, как потом гнутя над тачками, над вагонетками, под тяжестью полос дерна.

Мы все простужены, мы все кашляем, мы живем в воде, работаем в воде и стынем в воде, от нее не уйдешь: она пробирается в палатки, подползает к тебе, когда остервенело тычешь лопатой в землю, когда прокладываешь канаву.

На работе мы не отдыхаем: некогда, каждый час дорог, а в любом десятке есть нерадивые, больные, слабые и ленивые—и за тех и других равно надо расплачиваться. На работе мы не только не поем, но даже редко разговариваем, а когда уж невтерпеж—то ругаемся. Мы ненавидим свою работу, как она ненавидит нас, и ежеминутно подставляет нам ножку: то щебенка не поддается, то канаву прорезает огромный камень, то вагонетка вырывается из рук и по откосу бешено мчится вниз.

Мы—плохие работники, но и руководители наши хороши: техник Янц путает север с западом, надсмотрщики едва умеют обращаться с инструмен-

тами, а начальник Кнохт озабочен одним: подольше бы строился его участок. За кнохтовские сбережения мы расплачиваемся суставным ревматизмом, рапами, когда босой ногой попадешь на рельсы—хриплым кашлем, нудным и непрерывным, а в результате нередко чахоткой.

Лагерь перемещается каждые 15 верст. Это происходит приблизительно раз в 2—2½ месяца. Когда участок в 15 верст закончен,—лагерь снимается с места; сворачиваются палатки, грузится солдатское и начальническое добро, и партия трогается. Пока приходят и устраиваются на новом месте, пока расчищают поляну для стоянки, проходит 3—4 дня, и арестантам на эти три дня выдается на руки вся провизия и, таким образом, каждому десятку приходится тащить на себе лишних 9—10 пудов (кроме лопат, топоров, одежды) на протяжении 15 верст, и как часто в изнеможении десятки выбрасывают свою провизию, оставляя только по куску хлеба,—и вплоть до окончательного устройства на новом месте вся партия голодает.

«Новое место—новая жизнь»..., все по-старому и на новом месте: та же тайга, те же конвойные и тот же бессмысленный невыполнимый урок.

Мне повезло: я встречаю среди конвойных земляка, разговорились случайно, когда я устилал пол в солдатских палатках еловыми ветками,—и земляк меня не угощает прикладом, даже покурить дает, а это такое блаженство: ведь, мы курим сушеные листья, мелко накрошенную кору. Каждая затяжка—восторг, каждая струя дыма—счастье, а мой земляк по Волге даже и не знает, как он осчастливил меня. Бедняга, он в скором времени угодил под арест, правда, не из-за меня, а за винтовку, нечищенную. Коротка была наша дружба, но памятна на всю жизнь. Однажды меня назначили на домаш-

ние работы, по нездоровью. Работа эта считается более легкой, а в круг ее входят такие задачи: в течение дня раз пять сходить в лес (это за версту от лагеря), каждый раз притащить по дереву, распилить и нарубить дрова,—это до обеда; после обеда надо наполнить сорокаведерную бочку водой; дается два ведра, а коромысла нет, проволочная ручка режет ладонь, вода далеко, идя, приходится скакать с кочки на кочку. Вот, наполнил, идешь, но не попал на кочку, поскользнулся, ведра опрокинулись—иди обратно.

Земляк мой выбирал деревья потоньше, а на кочках даже помогал и не злился, когда я отдыхал,—где ты теперь, милый? Хорошо б повидаться, и верю я: узнаю его, мигом узнаю, хотя не мало лет прошло с того дня, когда я на берегу Зеи тащил дрова для солдатской кухни и пол в шалатке господина Янца посыпал песочком—песочком для красоты и уюта.

Памятна эта Зея—особенно приток ее один, крохотный, только вот забыл, как он назывался. Был он, как все речушки: ничего особенного, ничего выдающегося, а, ведь, на всю жизнь остался в памяти, ничем его не выскоблишь, никак о нем не забудешь.

Однажды, было это уже к концу осени, дней пять дожди лили беспрерывно, точно миллион бочек кто-то наверху опрокинул, и приток этот словно взбесился: разлился широко-широко, сорвал мост как раз на полпути к месту работ, и на 2 версты раскинулся по равнине, забурился, закипел, заволновался.

Сорван мост, а на работу шагать надо,—и ежедневно мы эту речушку переходили вброд, раздеваясь догола и, не обсохнув, становились на работу

а продолжалось это двенадцать дней,—в холодные последние осенние дни с заморозками.

«Колесуха» обратилась в сумасшедший дом.

Сбрасываются штаны и рубахи, лопаты болтаются на голых плечах; робко пробуешь ногой воду—холодно, кровь стынет, но команда не умолкает:

— Марш! Марш!

Вот уже вода до колен, вот она уже выше; кто-то рядом поскользнулся, под водой попал ногой на рельсы, пререзал ногу и стонет; перед тобой мелко дрожит чья-то посиневшая худая спина; близко старик-уголовный бормочет:

— Иисусе Христе, Иисусе Христе!..

И растягивается цепь из голых плеч, из голых спин—все синие, все жалкие, все маленькие—все, все, все...

И вдруг раздается громкий крик:

— Я—адмирал. Посторонись: мой броненосец плывет,—и студент тут же швыряет халат, ложится на него, машет руками и ногами, гудит, свистит и заливается тоненьким сумасшедшим смешком.

Внесли его в палатку на руках; несли и молчали, а вечером у Креста пели:

— «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого»...

Горел свет в палатках конвойных, вырисовывались ближние деревья, мелко-мелко моросил дождик.

Ночью, сквозь продранное полотнище палатки, глянула одна звезда, другая. Был в них привет немумирающего движения, но все живое вокруг дико и мертво.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1925 ГОД
на издаваемую редакцией журнала „Каторга и ссылка“

12
КНИГ
В ГОД

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННУЮ БИБЛИОТЕКУ

12
КНИГ
В ГОД.

ЖУРНАЛА „КАТОРГА И ССЫЛКА“.

Предполагаемое содержание „Историко-Революционной Библиотеки“:

1. М. Кротов. Якутская ссылка 70—80 г.г. Исторический очерк на основании неизданных архивных материалов. С приложением кратких биографий всех ссылкеных. Под редакцией В. Д. Виленского-Сибирякова. Выйдет и будет разослан подписчикам в начале апреля. 2—3 Н. С. Тютчев. Статьи и воспоминания по истории революционного движения. С приложением биографического очерка Н. С. Тютчева. Под редакцией А. В. Прибылева - Пчугастая. 4 Краухов. Черноморский флот в революции 1905 года. Под редакцией Н. А. Головиной. 5. Декабристы на каторге и в ссылке. Сборник статей, составленный Комиссией по празднованию юбилея восстания декабристов при Обществе политкаторжан и ссылочно-поселенцев. 6—7. Тюрьма, каторга и ссылка в эпоху первой революции. Сборник статей, воспоминаний и материалов. Под редакцией Ф. Нона, Н. Чужак и Я. Шумяцкого. 8—9. Егор Сазонов.—Шесть и материалы для биографии. В 2-х томах. Под редакцией Б. П. Козьмина и Н. И. Ракитникова. 10—11. М. Ф. Фроленко. Воспоминания (революционное движение 70-х г.г., партия «Народная Воля», Шинсельбург, после Шинсельбурга) в 2-х томах, под редакцией А. В. Прибылева. 12. Деятели русского революционного движения. 40 портретов с краткими биографиями.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

на 1 год (12 книг)—15 руб.; на $\frac{1}{2}$ года (6 книг)—8 руб.; на 3 месяца (3 книги)—4 р. 50 к.

В отдельной продаже цена книги 1 руб. 50 коп.—2 руб. 50 коп., а всей библиотеки свыше 20 рублей.

При одновременной подписке на журнал „Каторга и ссылка“ и „Историко-Революционную Библиотеку“

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

на 1 год (20 книг)—25 руб.; на $\frac{1}{2}$ года (10 книг)—13 р. 50 к.; на 3 мес. (5 книг)—7 р. 50 к.

10 нол.

**ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1925 г.
НА ДШЕВУЮ БИБЛИОТЕКУ
журнала „КАТОРГА и ССЫЛКА“
52 номера в год (каждый номер размером 16 стр.).**

Дешевая Библиотека имеет свою задачу дать в доступной форме для самого широкого круга читателей изображение отдельных этапов и моментов истории русского революционного движения.

В ряде брошюр будет освещена история революционного движения, начиная с декабристов до падения царизма.

В первую очередь, в связи с исполняющимися в текущем году юбилеями восстания декабристов и революции 1905 г., имеется в виду дать ряд книжек на разные темы, относящиеся к этим событиям.

Попутно будут освещены и другие эпохи истории освободительного движения, а также репрессивная политика самодержавия (казни, каторга, тюрьма и т. д.).

Вышли в свет и рассылаются подписчикам:

1. Вя. Виленский-Сибиряков—Кровавое воскресенье (9 янв.).
2. „ „ „ —Ленин в сибирской ссылке.
- 3—4. П. Швецов—Провокатор Окладский.
5. Билибин—Орловский централ.
- 6—7. М. Ф. Фроленко—„Милость“.
8. Каллистов—Тобольский централ.
- 9—10. Андрей Соболев—„Колесуха“. Амурск. колесная дорога.
11. М. Ф. Фроленко—1881 год.
12. Н. Подвойский—Первый совет рабочих депутатов.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

На 1 год—52 номера—2 р. 40 к. } с доставкой и пере-
„ 1/2 года—26 номеров—1 р. 25 к. } сылкой

Годовым подписчикам допускается рассрочка:
при подписке—1 р., к 15 апреля—70 к и к 1 августа—70 к.